**Александр Куприн**

[Александрова Т. Л.](http://www.portal-slovo.ru/authors/65.php)

Своеобразна литературная судьба этого писателя. В годы своего расцвета он, по свидетельству современников, «мало уступал в российской славе Горькому, Андрееву», и по смерти его никогда не забывали, многие его произведения знакомы российскому читателю с детства, – и все же отношение к нему всегда было каким-то не вполне серьезным. Критики любили рассуждать о том, что помешало ему стать великим писателем», собратья по перу находили в его стиле разнообразные огрехи, шаблонности и банальности, с точки зрения идеологии он тоже ни в одном лагере не был своим. До революции Куприн вроде бы стремился соответствовать догматам и канонам демократического лагеря, к царскому режиму был настроен оппозиционно, но все-таки никогда не был в этой оппозиционности до конца последователен, а из произведений его, несмотря ни на что, так и не складывается образ «темного царства», чающего революционного обновления. После революции писатель эмигрировал, став на время «персоной нон грата» для советского режима, но и в эмиграции, даже проявив себя как яркий антибольшевистский публицист, в число главных «идеологов» не попал, а перед смертью вообще «спутал все карты», вернувшись в СССР в страшном 1937 году. И потом на протяжении полувека советские критики убеждали читателя в том, что в этом поступке отразилось его главное жизненное прозрение, а антисоветские – напротив, что поступка не было вообще, что возвращение было следствием даже не заблуждения, а полной потери дееспособности, что старого, больного, «впавшего в детство» писателя увезли в Россию насильно. После падения советского режима, когда в глазах многих минусы и плюсы механически поменялись местами, Куприн вообще как бы отошел на второй план, его затмили возвращенные имена ранее запретного русского Зарубежья.

Тем не менее разгадка этой «странной» переменчивой судьбы, по-видимому, проста: художественный мир Куприна просто не укладывается в прокрустово ложе идеологий, а между тем охарактеризовать его можно в двух словах, как в самом начале его творческого пути это сделал покровительствовавший ему поэт-народник Лиодор Пальмин (выведенный Куприным под именем Диодора Миртова в автобиографическом романе «Юнкера»: «У вас глаз меткий, ноздри, как у песика, наблюдательность большая, и, кроме того, самое простое и самое ценное достоинство: вы любите жизнь». (Юнкера. Глава XIII. Слава.) Эти достоинства сами по себе, может быть, недостаточны для того, чтобы возвести Куприна в ранг великих писателей, но они делают его произведения неувядающими и нестареющими во все времена. Роль же эмигрантского творчества, в котором Куприн выразил себя как «певец России», российскому литературоведению еще только предстоит осознать.

**Происхождение и раннее детство**

«Ноздри как у песика» – сравнение не случайное. «Сколько в нем было когда-то этого звериного, – писал в очерке о Куприне Бунин, – чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского!» (*Бунин И.А. Куприн. – Бунин И.А. Собр соч. в 9-ти тт. М., 1967, Т. 9., С. 393).*

Татарские черты в лице Куприна, действительно, сразу бросаются в глаза при взгляде на любой из его портретов. Неудивительно: его мать «была княжна с татарской фамилией, <…> Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал с ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. (*Там же, С. 394).*

Фамилия матери писателя, Любови Алекссевны, была Кулунчакова. Куприн «считал, что основоположником их рода был татарский князь Кулунчак, пришедший на Русь в XV веке в числе приверженцев казанского царевича Касима» – вспоминала дочь Куприна, Ксения. (*Куприна К.А. Куприн – Мой отец. М., 1979, С. 19*). По имени Касима был назван город, данный ему в удел, в этом же городе, Касимове, жили и несколько поколений потомков князя Кулунчака. «Во второй половине XVII века прадеду Александра Ивановича были пожалованы поместья в Наровчатском уезде Пензенской губернии. Согласно семейным преданиям, разорение предков произошло из-за их буйных нравов, расточительного образа жизни и пьянства» *(Там же.)* Тяжелые черты наследственности Куприна тоже не миновали, но все-таки они не изуродовали его личности.

Ко времени юности матери писателя семья уже совершенно разорилась, и Любовь Алексеевна вышла замуж за человека значительно ниже себя по происхождению, Ивана Ивановича Куприна (К.А. Куприна называет его канцелярским служащим; Бунин – военным врачом, английский биограф Куприна, Н. Льюкер – офицером невысокого ранга). Аристократичный Бунин, не вполне всерьез воспринимавший гордость Куприна по поводу своих древних корней, как-то назвал его «дворянином по матушке», чем Куприн был страшно оскорблен. В 1961 г. у Куприных родилась дочь Софья, в 1863 – Зинаида. За ними последовало трое мальчиков, но все они умерли в младенчестве. Как водится, супруги мечтали о сыне. «Когда я почувствовала, что вновь стала матерью, – рассказывала Любовь Алексеевна сыну и будущей невестке, Марии Карловне, – мне советовали обратиться к одному старцу, славившемуся своим благочестием и мудростью. Старец помолился со мной и затем спросил, когда я разрешусь от бремени. Я ответила – в августе. “Тогда ты назовешь сына Александром. Приготовь хорошую дубовую досточку, и, когда родится младенец, пускай художник изобразит на ней – точно по мерке новорожденного – образ святого Александра Невского. Потом ты освятишь образ и повесишь его над изголовьем ребенка. И святой Александр Невский сохранит его тебе”» (*Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. М., 1966, С. 25).*

Молитва старца не была тщетной, и 26 августа (7 сентября) 1870 г. на свет появился Александр Иванович Куприн – будущий писатель. Ему был всего год, когда его отец умер от холеры – в возрасте тридцати семи лет. Любовь Алексеевна, оставшись совсем без средств, перебралась с детьми из Наровчата в Москву с целью дать им воспитание. Больших хлопот и унижений стоило ей определить дочерей в институты на казенный кошт, а сама она с маленьким сыном нашла приют в московском Вдовьем доме. «Мои первые воспоминания детства относятся к Вдовьему дому, где поселилась моя мать после смерти отца. – рассказывал Куприн невесте. – Мне тогда было около четырех лет. Моя мать была единственной молодой женщиной, попавшей в этот дом, все окружавшие меня были пожилые женщины или старухи. Говоря о них, мать всегда называла их “вдовушками”». (*Куприна-Иорданская, Годы молодости, С. 75-76*).

Уже будучи писателем, накануне своей женитьбы Куприн с ноткой самооправдания объяснял невесте, почему его мать так и остается во Вдовьем доме: «У нее очень энергичный и властный характер. Поэтому она чувствует себя, должно быть, вследствие долголетней привычки, лучше всего во Вдовьем доме, где она ни от кого не зависит. Не подумайте, что это какая-нибудь богадельня или приют для нищих старух. Таких домов только два <…> Здесь живут дворянские вдовы на полном казенном обеспечении. Моя мать попала сюда только потому, что она урожденная княжна Кулунчакова, происходит из древнего рода татарских князей-ханов. У каждой такой “вдовушки”отдельный уголок с кроватью, тумбочкой, креслом и шкафом. Таким образом, в огромной комнате-зале помещается не больше пяти-шести старух» *(Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 27*) На взгляд современного человека условия для постоянной жизни довольно незавидные. Но характер у Любови Алексеевны, в самом деле, был не сладок, приезжая в гости к замужним дочерям, она пыталась навязать им свои порядки, и поэтому пребывание ее в гостях не затягивалось. По этой же причине не брал к себе мать и сам Куприн, хотя совесть все-таки мучила его. Несомненно, размышлениями о судьбе собственной матери (которая скончалась в 1910 г., так и не покинув стен Вдовьего дома) навеян рассказ «Святая ложь» (1914), в котором воспроизведена та же коллизия человеческих отношений: сын не может забрать мать из Вдовьего дома и страдает от этого. В рассказе запечатлен тот же интерьер московского Вдовьего дома на Кудринской площади, комната-зала на шесть человек с казенной мебелью. Однако герой рассказа, жалкий неудачник Иван Иванович Семенюта, совсем не похож на самого Куприна – известного, преуспевающего писателя.

«Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, – писал Бунин, – так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое *(Бунин И.А., Собр. соч. т. 9., С. 393)*. Скрытность эта, по-видимому, развилась в нем потому, что слишком много было у него тягостных воспоминаний, делиться которыми не хотелось, однако при всем при том, Куприн очень откровенен в своем творчестве. Почти все его произведения в той или иной мере автобиографичны, хотя, конечно, творческое преображение действительности в них происходит всегда, и отождествить самого писателя с его героями невозможно.

Вспоминая детство во Вдовьем доме, Куприн описывал, как «богомольные «вдовушки» учили его молитвам, рассказывали о библейских пророках, святых, угодниках. Библейские истории мальчик слушал с удовольствием, как занимательные сказки, но страдания мучеников и рассказы об аде его ужасали, и он не любил их.

Набожность «вдовушек» в сознании мальчика оказалась слишком тесно сопряжена с постоянным чувством собственной приниженности, ощущения своей «второсортности», от которого он жестоко страдал. Его угнетало и чувство стыда за мать, которой постоянно приходилось перед всеми унижаться, он ненавидел язык приживалок и богаделок, которым она научилась говорить, с его обилием уменьшительных суффиксов («кусочек, чашечка, вилочка, ножичек, яблочко и т.д.), мучило его и сознание собственной некрасивости, неуклюжести – особенно в самодельных, сшитых матерью на вырост, костюмчиках. И уже в этом, можно сказать, младенческом возрасте он впервые задался наивным на посторонний взгляд, но для него самого очень важным вопросом «теодицеи». Ему было лет пять, когда он решился в молитве просить Бога, чтобы стать ему таким же хорошеньким, как один особенно понравившийся ему голубоглазый и белокурый мальчик с картинки. Исполнения просьбы, разумеется, не последовало. «В течение нескольких дней я каждый вечер потихоньку молился. Наконец, видя, что ничего не меняется, я рассказал об этом матери, и спросил, почему Бог не исполняет мою просьбу. Она ответила довольно лукаво: “Он, видишь ли, сделал тебя таким, какой ты есть, для меня. А если бы утром я подошла и увидела, что в кроватке голубоглазый мальчик, я бы не узнала, что это ты”. Мать я очень любил, поэтому решил, что должен покориться своей участи. Но все-таки я не переставал от времени до времени обращаться к Богу с различными просьбами. И вот я убедился в том, что Он никогда и ни одной просьбы моей не исполняет. Тогда я обиделся на Него и я считаю, что с этого времени моя детская наивная вера в Него пошатнулась, и я все дальше уходил по пути неверия» (*Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 32*).

Это слова Куприна, воспроизведенные в воспоминаниях его первой женой, М.К. Куприной-Иорданской. В ее книге очень много рассказов от первого лица, хоть, может быть, и не буквально воспроизведенных, но в основном вполне заслуживающих доверия, тем не менее сам Куприн в своих воспоминаниях о детстве говорил об этом несколько иначе, и многие его произведения (например, рассказы «Тапер», «Чудесный доктор») свидетельствуют о том, что веры в высшее милосердие и жажды восстанавливающего справедливость чуда Божия Куприн не утратил.

Так что история из детства, рассказанная невесте, «передовой» вольнодумной барышне, в пору, когда он и сам не хотел отставать от людей, считавшихся «передовыми», могла и не отражать всей сложности его переживаний. В рассказах эмигрантской поры он вспоминал и необъятную пасхальную радость детских лет, и мальчишескую забаву звонить в колокола на Светлой седмице, и паломничество «к Троице-Сергию», и благоговение от увиденной в лаврской ризнице ветхой ризы Преподобного. Но следующие его слова, также записанные Куприной-Иорданской, несомненно, верны: «Каждый раз, когда я вспоминаю об этих ранних впечатлениях моего детства, боль и обида оживают во мне с прежней силой. Я опять начинаю недоверчиво относиться к людям, становлюсь обидчивым, раздражительным, и по малейшему поводу готов вспылить». (*Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 77*). В то же время, видимо, именно ностальгия по отчему дому, которого сам писатель был лишен в детстве, сделала такими привлекательными в его изображении семейные гнезда с устоявшимся укладом, с теплом родственных отношений.

**Годы учения и службы**

Нерадостно было и отрочество Куприна. Несомненно, правы были те, кто говорил что «многое в его противоречивом характере можно объяснить казенным детством, военным воспитанием» (*Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 6*). Как и его старшие сестры, он мог получить образование только на казенный кошт, ценой хлопот и унижений матери. Сначала (в возрасте 6 лет) он был определен в сиротский пансион Разумовского, затем, в возрасте 10 лет, поступил 2-ю военную гимназию, вскоре преобразованную в кадетский корпус, а по окончании кадетского корпуса, уступая слезным мольбам матери, выдержал экзамены в Александровское военное училище.

Приступая к написанию повести «Поединок», Куприн объяснял ее название так: «Всеми силами моей души я ненавижу годы моего детства и юности, годы корпуса, юнкерского училища и службы в полку. Обо всем, что я испытал и видел, я должен написать. И своим романом я вызову на поединок царскую армию.» (*Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. с. 73*). «Поединок» (1905) – это, как известно, повествование, написанное по мотивам личного опыта службы в полку. Собственно «военному детству» посвящена маленькая повесть «На переломе (Кадеты)» (1900), а «военной юности» в юнкерском училище – роман «Юнкера» (1928-1932). Вместе они составляют единую трилогию, однако осмысление событий в них разное. Если «На переломе» и «Поединок» проникнуты обличительным пафосом, то «Юнкера» – произведение ностальгическое, в котором картины прошлого предстают в светлых тонах, хотя мрачные стороны училищного быта тоже не обходятся молчанием. Позицию какого времени, какого из произведений трилогии можно считать наиболее верной, сложно сказать. Но важно отметить другое: картины «кромешной тьмы» все-таки нет ни в одном из этих произведений.

Да, атмосфера кадетского корпуса тяжела. Взаимоотношения воспитанников, по стилю близкие к современной «дедовщине», детская жестокость со своими законами, власть сильных над слабыми, формальный подход педагогов, нередко их собственная профессиональная непригодность – все это было. Но все-таки были и свои маленькие радости – например, горделивое ощущение причастности к некоему единому, важному сообществу людей, испытанное (и наверняка не единожды) во время «отпуска»: «Отпуск был великолепен. Кепи, надетое набекрень, и черная военная шинель внакидку привлекали на улице всеобщее внимание. Все, положительно все: и те, что ехали на извозчиках, и пешеходы, и пассажиры конок – с почтительным любопытством и радостным изумлением глядели на Буланина (во всяком случае, ему так казалось). В их взглядах он каждый раз читал безмолвное восклицание: “Посмотрите, посмотрите – военный гимназист!.. Удивительно, такой молодой, и уже носит военный мундир. Ведь у них, говорят, ужасная строгость, и даже учат маршировать с настоящими ружьями” <…> Он с истинным наслаждением занимался отдаванием чести. Не в четыре законных, а по крайней мере за пятнадцать шагов, он прикладывал руку к козырьку, высоко задирал кверху локоть, и таращил на офицера сияющие глаза, в которых ясно можно было прочесть испуг, радость и нетерпеливое ожидание. Каждый раз, проделав эту церемонию и получив в ответ от улыбающегося офицера масонский знак, Буланин слегка лишь косился на мать, а сам принимал такой деловой, озабоченный, даже как будто бы усталый вид, точно он только что окончил весьма трудную и сложную, хотя и привычную обязанность, не понятную для посторонних, но требующую от исполнителя особенных глубоких знаний» (*На переломе (Кадеты), гл. IV*). И какое-то особое благородство мужественности побуждало Буланина-Куприна, не выплескивать тяготы корпусной жизни на мать, перенося их молча и переживая в себе. Знаменательно, кстати, что одним из немногих членов педагогического состава, о ком Буланин-Куприн сохранил добрые воспоминания, был старенький священник о. Михаил, и, очевидно, не по одной «разнарядке» своенравный Куприн все восемь лет пребывания в корпусе нес «клиросное послушание» (о чем он сам вспоминает в рассказе «Обиходное пение»).

Герой «Юнкеров» – юнкер Александров – напротив, производит впечатление человека не просто счастливого, а излучающего счастье. «Из него уже вырабатывается настоящий юнкер-александровец. Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть, и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва, — Москва, которая так пристрастно и ревниво любит все свое, в пику чиновному и холодному Петербургу. (*Юнкера. Глава. VIII Торжество*).

Ему знаком восторг верноподданнических, патриотических чувств – например, во время встречи государя: Какими словами мог бы передать юнкер Александров это медленно наплывающее чудо, которое должно вскоре разрешиться бурным восторгом, это страстное напряжение души, растущее вместе с приближающимся ревом толпы и звоном колоколов. Вся Москва кричит и звонит от радости. Вся огромная, многолюдная, крепкая старая царева Москва. Звонят и Благовещенский, и Успенский соборы, и Спас за решеткой, и, кажется, загремел сам Царь-Колокол и загрохотала сама Царь-Пушка! А когда в этот ликующий звуковой ураган вплетают свои веселые медные звуки полковые оркестры, то кажется, что слух уже пересыщен, что он не вместит больше. (*Юнкера. Глава. VIII Торжество*).

Он счастлив и физическим ощущением своей молодости, силы, крепости (ценность чего, по-видимому, особенно остро ощущал стареющий Куприн), счастлив способностью чувствовать жизнь во всех ее проявлениях – вкуса, запаха, цвета. «О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной. А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий доппелькюммель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка и... всех не перечислишь (Юнкера, глава XXV, Rendez-vous) По стилю это описание масленицы кажется почти шмелевским, из «Лета Господня». Молодой герой Куприна наделен детской способностью радоваться мелочам – тою же, какая была у маленького шмелевского героя. Юнкер Куприн, в отличие от юнкера Александрова, не чувствовал себя счастливым, но уже то, что впитанные впечатления сохранились в нем с такой свежестью, свидетельствует о том, что психологически сломлен он никак не был.

Военное воспитание сделало Куприна физически сильным. «Человек должен развивать все свои физические способности. – говорил он. – Нельзя относиться беззаботно к своему телу. Среди людей интеллигентных профессий я очень редко встречал любителей спорта и физических упражнений. А наши литераторы, на кого они похожи – редко встретишь среди них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство сутулы или кривобоки, при ходьбе вихляются всем туловищем, загребают ногами или волочат их – смотреть противно. И почти все они без исключения носят пенсне, которое часто сваливается с их носа. (*Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 89*). Ощущение радости движения Куприн передает не менее искусно, чем ощущения запаха, вкуса, цвета. А все вместе дало ему возможность вживаться в психологию не только людей, но и животных, правдоподобно описывая чувства лошадей, собак, птиц.

Тем не менее художественность, заложенная в его натуре, не довольствовалась одними мелкими детскими удовольствиями: съесть что-то вкусное и посмотреть интересное, – а также обычными мальчишескими радостями от подвижных игр и физических упражнений. Еще в кадетском корпусе Куприн начал писать стихи, а потом и прозу. Будучи юнкером, он познакомился с поэтом Лиодором Пальминым, который помог ему с литературным дебютом. «Бедный терпеливый старик, – вспоминал Куприн, – как я надоедал ему, еженедельно притаскивая мои стихи и прозу, которые он добросовестно читал и пытался куда-нибудь протиснуть. (*Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 80*). Старания Пальмина увенчались успехом и первый рассказ Куприна – «Последний дебют», в основу которого было положено реальное событие: нашумевшее самоубийство на сцене актрисы Евлалии Кадминой, – был опубликован в еженедельнике «Русский сатирический листок» 3 декабря 1889 г., принеся своему автору в качестве «награды» заключение на двое суток в карцер. В биографиях Куприна этот факт обычно приводится как свидетельство несправедливости училищных порядков. Между тем в «Юнкерах» сам писатель рассматривает наказание как промыслительное благо: «Иногда, ложась на деревянные нары, и глядя в высокий потолок, Александров пробовал восстановить в памяти слово за словом весь текст своей прекрасной сюиты “Последний дебют”. И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение: “А, в сущности, ведь, пожалуй, такое заглавие: “Последний дебют”, может показаться неточным и даже нелепым. Дебют – это ведь начало, как и в шахматах, это – первое, пробное выступление артистки, а у меня актриса Торова-Монская (фу, и фамилия какая-то надуманная и неестественная *<В рассказе Куприна – Гольская – Т.А.>*), у меня она, по рассказу, имеет и большой опыт и известное имя.” <…> И чем более он теперь вчитывался мысленно, по памяти, в “Последний дебют”, тем более он находил в нем корявых тусклых мест, натяжек, ученического напряжения, невыразительных фраз, тяжелых оборотов» (*Юнкера, гл. XIV, «Позор»*). Надо сказать, что выводы Александрова (или замечания зрелого Куприна) не лишены основания, хотя отдельные черты его будущего стиля: и некоторая склонность к мелодраматизму, и внимание к деталям, и искусная передача речи простых людей, и общий напряженный динамизм повествования – уже угадываются в нем.

В 1890 г. Куприн окончил юнкерское училище. Трудно сказать, руководствовался ли он в выборе будущего места службы теми же принципами, какие двигали юнкером Александровым в «Юнкерах»: «…Да, конечно же, нет в русской армии ни одного порочного полка. Есть, может быть, бедные, загнанные в непроходимую глушь, забытые высшим начальством, огрубевшие полки. Но все они не ниже прославленной гвардии. Да, наконец... и тут перед Александровым встает давно где-то вычитанный древний греческий анекдот: “Желая посрамить одного из знаменитых мудрецов, хозяева на званом обеде посадили его на самое отдаленнее и неудобное место. Но мудрец сказал с кроткой улыбкой: “Вот средство сделать последнее место первым”». (*Юнкера. Глава XXVIII. Последние дни.*)

«После окончания юнкерского училища в 1890 году, Куприн был зачислен в 46-й Днепровский пехотный полк и послан в качестве подпоручика в самую глушь Юго-Западного края – Проскуров. Жизнь захолустного городка он позднее описал в своем «Поединке». Чтобы вырваться из засасывающей трясины, подпоручик Куприн стал готовиться к экзаменам в Академию Генерального штаба. В 1893 году он отправился с этой целью в Петербург. Причина краха на экзаменах известна только со слов самого Куприна. В Киеве в ресторане-барже на Днепре он увидел подвыпившего пристава, оскорблявшего девушку-официантку. Куприн то ли побил его, то ли бросил за борт. Субъект подал жалобу, которая попала к генерал-губернатору Драгомирову, и подпоручик Куприн не был допущен к последующим экзаменам. Прослужив в захолустье еще один год, во время которого Куприн много времени отдавал литературе, он наконец подал в отставку и вырвался на волю, хотя знал, что этим наносит страшный удар своей матери. И с тех пор началась его бродячая, пестрая жизнь». (*Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 21.*)

**Начало литературной деятельности**

В самом деле, по выходе из полка для Куприна начался период, сравнимый, разве что с «университетами» Горького. Вот его собственный рассказ о перипетиях своей судьбы: «Выйдя в запас, я в начале предполагал устроиться на заводе. Но мне не повезло. Через неделю я поссорился и чуть не подрался со старшим мастером, который был чрезвычайно груб с рабочими. Тогда я поступил наборщиком в типографию и время от времени таскал в редакцию печатавшейся там газеты заметки об уличных происшествиях. Постепенно я втянулся в газетную работу, а через год стал уже заправским газетчиком и бойко строчил фельетоны на разные темы. Платили мне очень немного, но существовать было можно. Неожиданно наступили дни жестокого безденежья. Я с трудом перебивался с хлеба на квас. Газета, в которой я работал, перестала платить мне за фельетоны (полторы копейки за строку), и только изредка удавалось выпросить у бухгалтера в счет гонорара рубль, а в лучшем случае три рубля. Я задолжал хозяйке за комнату, и она грозила “выбросить мои вещи на улицу”. Пришлось подумать о том, чтобы временно перебраться на жительство в ночлежку и, так как наступало лето, заняться не литературным, а честным трудом грузчика на пристани. С газетой я все же не порывал и в отдел “из городских новостей” давал заметки <...> Сотрудничал я также в отделе светской хроники (имелась в газете и таковая), где сообщал: “На первом представлении пьесы известного драматурга Х. мы любовались роскошными туалетами дам. Нельзя не отметить о азар <*«по случаю» – фр. – Т.А*.> парми <«*среди» – фр. – Т.А.*> присутствующих туалеты госпожи Н.Н. – зеленое бархатное платье гри де перль и розовое платье мов с роскошной отделкой из брюссельских кружев валансьен”. Заметки эти я писал с удовольствием. Они доставляли мне бесплатное развлечение, и, что было самое удивительное, никто – ни редактор, ни читатели – не замечал явного издевательства над их невежеством и глупостью» (*Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 45*)

«Чем только <он> не был! – поражался Бунин. – Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, актером, мелким журналистом» (Бунин. Собр. соч. Т. 9., С. 393). Список можно пополнить: он был и рыбаком, и борцом в цирке, и судебным приставом, и псаломщиком, и охотником (охотился, в частности, в Полесье; по воспоминаниям об этом крае создан целый ряд произведений, самое известное из которых – «Олеся»).

«Демократизм» Куприна – не в смысле политических убеждений, а в смысле отношения к людям – поразителен. Мало кого из писателей, ему современных, можно представить в роли грузчика или борца в цирке. Горький, имевший подобный опыт, всячески подчеркивал, нередко преувеличивая, что «пришел со дна моря народного». Куприн, при всех сложностях своего воспитания, должен был относить себя к привилегированным сословиям, для представителей которых такие контакты на равных с «отбросами общества» были немыслимы. Обычной была как раз обратная ситуация: писатели, годами писавшие о «страданиях народа», вели вполне барственный образ жизни и с конкретными «людьми из народа» почти не общались. В Куприне удивительно и то, что погружаясь «на дно моря народного», он как будто и не чувствовал себя отверженным или обделенным, и не сделал «страданий народа» своей литературной специальностью. С равной осведомленностью и нередко равной симпатией писал он о циркачах и чиновниках, о музыкантах (от ресторанных «таперов» до великих маэстро) и офицерах, о столбовых дворянах и конокрадах, ценя в людях, независимо от их социального статуса, смелость, увлеченность своим делом, бескорыстие и милосердие.

«До своего приезда в Петербург в 1901 году Куприн жил в провинции, – пишет М.К. Куприна-Иорданская, – работая в киевских, поволжских, ростовских и одесских газетах. Но ни с одной редакцией он не связывал себя обязательными длительными отношениями. Он дорожил возможностью переезжать с места на место, попадать в новую обстановку, знакомиться с новыми людьми. Особенно привлекала его жизнь южных городов, где было солнечно и ярко, уличная толпа – пестрой и шумной, а люди – общительными и “легкими”. “Я толкался всюду и везде нюхал жизнь, чем она пахнет, – рассказывал мне впоследствии Александр Иванович. – Среди грузчиков в одесском порту, воров, фокусников и уличных музыкантов встречались люди с самыми неожиданными биографиями – фантазеры и мечтатели с широкой и нежной душой». (*Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 12-13).*

Проникновение в глубины человеческих душ Куприн производил методами, нередко небезвредными для него самого. Например, он признавался, что очень ценит душевные излияния пьяниц, считая, что в этих излияниях люди раскрываются совершенно особенным образом. Понятно, что слушать такие исповеди можно было лишь в одном качестве: в качестве собутыльника рассказчиков. Поэтому у знакомых Куприна возникало весьма обоснованное опасение, что он сам покатится по наклонной плоскости. Такие опасения были и у Бунина, познакомившегося с Куприным в Одессе в 1897 г. «Чем больше я узнавал его, – пишет он, – тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому все трын трава. Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов… В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием предавался при встречах со мной смакованием всяких острых художественных наблюдений» (*Бунин. Собр. соч. Т. 9. С. 397*).

Нельзя сказать, и что Бунин был совсем не прав в своих словах, и что купринская бесшабашность была только «исканиями», – в конечном итоге он сам за нее поплатился преждевременной потерей здоровья. Но все же далее тот же Бунин пишет не просто о перемене к лучшему, но о «резком переломе», наступившем в жизни Куприна и приведшем его к творческому расцвету. Да и уже хотя бы потому, что в творчестве Куприна ярко и выпукло запечатлелись как раз многие из тех самых «подозрительных» его знакомых: «портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов», – которые стали его неповторимыми литературными героями, сказать, что этот период «погружения на дно» был для него творчески бесплодным, никак нельзя. За свой «киевско-одесский» период Куприн опубликовал не один десяток рассказов и небольших повестей, среди которых такие известные его произведения, как «Олеся» и «Молох», в эти годы окончательно сформировался его индивидуальный литературный стиль, а жизненных впечатлений он накопил столько, что впоследствии не раз возвращался к ним в зрелые годы – до революции, и потом, на склоне лет, в эмиграции.

**Приезд в Петербург. Женитьба. Признание.**

«Резкий перелом» в жизни Куприна, о котором пишет Бунин, наступил не без его собственного посредства: именно Бунин ввел Куприна в круг петербургских литераторов. «В это чудесное лето – вспоминал Бунин, – в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. “Да меня ж никуда не примут”, – жалостливо скулил он в ответ. “Но ведь вы уже печатались!” – “Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут”. “Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей “Мира Божьего”, – ручаюсь, что там примут”. <…> Так и написал он свою “Ночную смену”, которую мы послали в “Мир Божий”, потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в “Одесские новости,” – сам он почему-то “ужасно боялся”, – и за который мне удалось тут же схватить для него двадцать пять рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе “штиблеты”, потом на лихаче помчал меня в приморский ресторан “Аркадию” угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином… Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии: “Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!”» (Бунин. Собр. соч. Т. 9. С. 395).

Создается впечатление, что Бунин все же несколько сгущает краски: не таким уж новичком был Куприн в литературном деле, но основная канва событий сохранена, а необузданная натура Куприна изображена правдоподобно.

В один из ноябрьских воскресных дней 1901 г. оба молодых писателя появились в петербургской квартире издательницы журнала, Александры Аркадьевны Давыдовой. Сама Давыдова к ним не вышла: незадолго до того она пережила несчастье, смерть любимой дочери, и сама была нездорова. Она попросила принять гостей свою младшую, приемную дочь, двадцатилетнюю Марию Карловну (1881-1966). Бунин был хорошо знаком и с ней. Шутливость общения была вообще в его стиле, но в тот раз первая же шутка оказалась провидческой, о чем вспоминала сама Мария Карловна: «Здравствуйте. Глубокоуважаемая, – обратился он ко мне. На днях прибыл и спешу засвидетельствовать Александре Аркадьевне и вам свое нижайшее почтение. – Он преувеличенно низко поклонился, затем, отступив на шаг, еще раз поклонился и продолжал серьезным тоном: – Разрешите представить вам жениха – моего друга Александра Ивановича Куприна. Обратите благосклонное внимание – талантливый беллетрист, недурен собой. Александр Иванович, повернись к свету! Тридцать один год, холост. Прошу любить и жаловать. <…> Сядем, посидим, друг на дружку поглядим. У вас товар, у нас купец, женишок наш молодец» (Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 7). Рядом со светски-непринужденным Буниным Куприн выглядел неловким застенчивым провинциалом. И чувствовалось, что он смущен этой шуткой. Но потом постепенно втянулся в разговор, говорили о Крыме, о Чехове, с которым Куприн тоже в то лето познакомился – в Ялте. Мария Карловна была барышней образованной и общительной, беседы с литераторами были для нее не в новинку. После этого первого визита Куприн стал бывать у Давыдовых, и как-то незаметно, в самом деле, оказался в роли жениха Марии Карловны. Ее окружение поначалу не воспринимало такого жениха всерьез, потом пыталось предостеречь невесту от необдуманного шага, убеждая ее, что она мало знает своего избранника, а слухи о нем, между тем, ходят не самые благоприятные, но девушка уже сама увлеклась им не на шутку, и всего через четыре месяца после знакомства Куприн и Мария Карловна Давыдова обвенчались. Мать Куприна была очень рада этому событию, поскольку надеялась, что отныне ее сын покончит со скитальческой жизнью, остепенится, обретен дом и семью. Она благословила молодых иконой Александра Невского – той самой, которая была заказана при рождении Куприна, и хотела, чтобы святой образ осенял младенчество их будущих сыновей. Но этим материнским мечтам не суждено было сбыться. Единственным ребенком Куприна и Марии Карловны стала дочь Лидия, родившаяся в 1903 г., а сам союз их продлился всего пять лет.

Петербургская жизнь поначалу увлекает Куприна. Даже скучную, формальную обязанность отдавать визиты после свадьбы, которая, как опасалась его молодая жена, должна бы быть ему в тягость, он воспринимает с радостью: «Машенька, да это же великолепно! <…> Знакомиться с новыми людьми, наблюдать новые отношения, догадываться, чем каждый из этих людей дышит, ведь это же страшно интересно. Непременно поедем не откладывая с визитами» (Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 48).

Круг литературных знакомств Куприна в те годы значительно расширияется. Два года (с 1902 по 1904) он ведет беллетристический журнал «Мира Божьего», фактически являясь одним из его редакторов (совместно с А.И. Богдановичем и Ф.Д. Батюшковым). В эти же годы он пишет такие знаменитые свои вещи, как «Болото», «Конокрады», «Трус», Мирное житие», «Белый пудель». Куприн становится широко известен, о нем одобрительно отзывается Толстой – высший арбитр для интеллигенции тех лет (Толстой, в частности, ставит в заслугу Куприну то, что он, «новый писатель», пользуется «старыми методами»); в его произведениях находят перекличку с Горьким, товарищество «Знание» предпринимает издание сборника его произведений. Близость к этому кругу людей накладывает свой отпечаток на писательский почерк Куприна. Многие демократические идеи ему близки, в чем-то он старается «не отстать» от тех, кто так уверен в правильности своего взгляда на будущее России.

Это стремление «соответствовать» подчас выглядит наивным и не украшает его произведений. Так, безжизненной и малопривлекательной выглядит утопия, нарисованная Куприным в рассказе «Тост»: «Истекал двухсотый год новой эры. Оставалось всего пятнадцать минут до того месяца, дня и часа, в котором, два столетия тому назад, самая упрямая, консервативная и тупая из всех стран – Германия, – наконец решилась расстаться со своей давно устаревшей и смешной национальной самобытностью и, при ликовании всей земли, радостно примкнула к всемирному анархическому союзу свободных людей. По древнему же, христианскому, летоисчислению теперь был канун 2906 года». И несмотря на все расписанные преимущества «новой» эпохи далекого будущего перед «древним» и диким XX веком, по-человечески очень понятна ностальгия героини рассказа по этому страшному прошлому: «А все-таки… как бы я хотела жить в то время… с ними… с ними…» Видимо, художественное чутье подсказывало самому Куприну, что с «правильными» утопистами ему не по пути.

Более серьезным образом он отдает дань массовым революционным умонастроениям в повести «Поединок». События неудачной русско-японской войны многих тогда заставили задуматься о положении в армии. Нерадостный военный опыт Куприна оказался востребован. Однако создавалась повесть тяжело, первый вариант, написанный в 1903 г. (шесть глав), был уничтожен, а через год, вернувшись к замыслу, Куприн оставил редакторскую работу в «Мире Божьем», чтобы сосредоточиться над работой. Да и в готовом виде, как отмечали рецензенты, «публицистическая эффектная злоба» вредила повести.

Постепенно Петербург начал тяготить Куприна. Что петербургский «черный туман» «поглощает творческие и жизненные силы», Куприн и сам признавался, и поездки в Крым, которые они с Марией Карловной совершали ежегодно, были ему необходимы, не по здоровью, по состоянию духа. В Петербурге же, на Невском, он обнаружил неожиданный кусочек юга в виде небольшой лавочки под названием «Устричное заведение Г. Денакса». От хозяина-грека Куприн впервые услышал о рыбацком поселке Балаклава. И однажды, когда очередной раз настала пора ехать в Крым, решая, куда поехать, Куприны остановили свой выбор именно на Балаклаве. Место понравилось, и вскоре Куприн стал обладателем небольшого участка земли возле живописной бухты, почти наглухо замкнутой горами. Там он близко сошелся с местным «древним греческим населением», многие из них были им запечатлены в рассказе «Листригоны». Его по-прежнему тянуло к людям такого типа. Бунин вспоминал: «Куприн, даже в те годы, когда мало уступал в российской славе Горькому, Андрееву, нес ее так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, дружит, не расстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и босяка Маныча. Слава и деньги дали ему, казалось, одно: – уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся» (Бунин. Собр. соч. Т. 9., С. 398)..

В Балаклаве летом 1905 г. Куприн стал свидетелем жестокого подавления восстания матросов крейсера «Очаков» вице-адмиралом Чухниным (крейсер был расстрелян из орудий и загорелся, многие члены экипажа сгорели заживо). Этот случай Куприн описал в очерке «События в Севастополе», за который по приказу самого Чухнина был выслан из Севастополя, и вынужден был вернуться в тяготивший его Петербург, а разбирательство по этому делу продолжалось еще в 1908 г. В конце концов, суд назначил Куприну на выбор штраф в 50 рублей или домашний арест с приставлением городового. Куприн выбрал второе. Но на этом его революционная деятельность и закончилась.

Интерес к революции пошел на спад, как во всем обществе, так и у самого Куприна, а становиться «колесиком и винтиком» единого общепролетарского дела было явно ему не по нутру. «Горький рассчитывал, что мое новое произведение <*«Нищие» – Т.А.*>, – говорил Куприн, – как и “Поединок”, вскроет язвы нашего общественного строя и приведет сознание читателя к неизбежности революционного пути. Он надеялся сделать из меня глашатая революции, которая целиком владела им. Но я не был проникнут боевым настроением и, по какому руслу пойдет моя дальнейшая работа, заранее предвидеть не мог» (*Куприна-Иорданская. Годы молодости. С. 206-207*).

**Второй брак. Новые скитания.**

В это время Куприн вновь оказался на перепутье не только в творческом, но и в личном плане. Его отношения с женой, Марией Карловной, постепенно стали портиться. О причинах их разрыва сама Мария Карловна не пишет ничего, дочь Куприна от второго брака, Ксения, отстаивая позиции своей матери, пишет довольно много, но по большей части такого, о чем, возможно, лучше было бы вообще промолчать, да и трудно ждать объективности там, где возникает конфликт двух женщин из-за мужчины. Но воспоминания Марии Карловны, написанные много лет спустя, рисуют живой и обаятельный образ Куприна, и по ним можно судить, что она с большим вниманием относилась к тому, что он рассказывал о своей жизни. Мария Карловна была посвящена и в замыслы произведений, над которыми он тогда работал. Она была человеком ярким, умной собеседницей, стиль ее воспоминаний свидетельствует о литературной одаренности. Видимо, двум сильным людям просто оказалось тесно под одной крышей, и Мария Карловна, как многие эмансипированные и яркие женщины, не умела создать уют домашнего очага, о котором с детства мечтал Куприн. Понятно и то, что сам он со своим неукротимым нравом мало подходил на роль идеального мужа светской женщины. В период разрыва Куприн говорил в адрес Марии Карловны немало обидного, ставил ей в вину то, что она не занимается ребенком, но впоследствии, когда страсти улеглись, он поддерживал с ней отношения, вел переписку, прислушивался к ее мнению. Мария Карловна впоследствии вышла замуж за редактора журнала «Современный мир» (сменившего «Мир Божий»), публициста Н.И.Иорданского, сама работала в журналистике.

Новую избранницу Куприна, Елизавету Морицовну Гейнрих (1882-1943), Мария Карловна в воспоминаниях называет своей «подругой детства». Но коллизия человеческих отношений здесь была не та, которую можно заподозрить: когда одна подруга «уводит мужа» у другой. Судьба Елизаветы Морицовны с детства складывалась нелегко (может быть, и это обстоятельство сроднило ее с Куприным). Отец, Мориц Гейнрих Ротони, был по происхождению венгр, бежавший с родины после революции 1848 года и осевший в России. Женат он был на русской, в его семье было двенадцать детей, десять сыновей, и две дочери: самая старшая – Мария и самая младшая – Елизавета. В конце семидесятых – начале 80-х учителем в его семье был ссыльный В.Г. Короленко. У старшей дочери, Марии, сложились с ним дружеские отношения. Впоследствии она ушла из отчего дома и сделалась актрисой, потом познакомилась с писателем Д.Н. Маминым-Сибиряком и стала его гражданской женой. Мать ее умерла в 1886 г. и с тех пор младшая сестра, Лиза, находилась при ней.

Мария Морицовна умерла от родов в 1892 г., оставив Мамину-Сибиряку новорожденную дочь Аленушку и десятилетнюю сестру Лизу. Некоторое время Лиза жила в качестве воспитанницы в семье Давыдовых. Потом Мамин-Сибиряк снова взял ее к себе, но к этому времени его женой стала бывшая гувернантка Марии Карловны Давыдовой, Ольга Францевна Гувале, которая Лизу невзлюбила. Линии человеческих взаимоотношений переплелись здесь очень сложно, понять, кто был прав, кто виноват, очень трудно, но очевидная правда в том, что Лизе, лишенной собственной семьи, жилось несладко, она несколько раз сбегала из дома – то в редакцию «Мира Божьего», то в цирк, куда хотела поступить, а повзрослев, уехала в качестве сестры милосердия на русско-японскую войну.

Когда Елизавета Морицовна вернулась с войны, Мария Карловна предложила ей стать гувернанткой своей дочери Лидии. Куприны тогда гостили в Даниловском, имении Ф.Д. Батюшков, редактора «Мира Божьего» и друга Куприна. Отношения между супругами к тому времени уже разладились, и внимание Куприна привлекла Елизавета Морицовна. Завязавшийся роман вызвал бурное осуждение всех друзей и знакомых Марии Карловны, Мамин-Сибиряк даже прекратил все отношения с бывшей воспитанницей, не одобряла этой связи и мать Куприна, Любовь Алексеевна, хотя, по словам Ксении Куприной, Елизавета Морицовна меньше всего хотела разрушить чужую семью и даже очередной раз порывалась бежать. Конфликт с Марией Карловной и любовь к Лизе вдохновили Куприна на создание своего самого любимого произведения: повести «Суламифь», написанной по мотивам библейской Песни Песней и стилизованной в духе ее поэтики.

В марте 1907 г. Куприн развелся с первой женой и с этого времени соединил свою судьбу с Елизаветой Морицовной. В 1908 г. у них родилась дочь Ксения. Правда, официально документы о разводе были получены только в 1909 г. Тогда Куприн обвенчался с Елизаветой Морицовной, и тогда же была крещена Ксения. Не крестили ее раньше потому, что отец не хотел, чтобы его дочь была записана в метрическую книгу «незаконнорожденной». И хотя крестины сопровождались целым рядом трагикомических инцидентов: девочка при погружении в купель испугалась и громко закричала, на ее крик в церковь ворвалась собака Куприна, пудель Негодяй, в суматохе один из свидетелей нечаянно поджег свечой длинные волосы священника, – которые сама Ксения передает в воспоминаниях со слов отца, и которые в ее изложении, возможно, в угоду советской цензуре, как будто свидетельствуют о несерьезном отношении Куприна к вере, – все-таки само нежелание жить в неосвященном браке (что в те годы в интеллигентной среде позволяли себе уже многие) говорит о том, что Куприн, напротив, достаточно серьезно относился к традициям и семейным устоям.

Как своего рода предостережение, адресованное «матерям и юношеству» был задуман роман «Яма», над которым Куприн работал в 1909-1910 г. Однако даже при скидке на благие намерения писателя, трудно не согласиться с критиком Вл. Кранихфельдом, который сказал об этом произведении: «Ошибка Куприна – не в том, что он пошел и повел нас в публичный дом. Его ошибка – в чрезмерно преувеличенном значении, которое он придает этому путешествию» (*Кранихфельд Вл. Литературные отклики /// Современный мир. М., 1909, С. 189*).

Расторгнув брак с Марией Карловной, Куприн оставил ей участок в Балаклаве и право на издание всех опубликованных ранее произведений, поэтому сам в первые годы второго брака вновь испытывал денежные затруднения. Жил он с новой семьей некоторое время в Гатчине (снимал дачу), затем, в 1909 г., переехал в Одессу. В своих занятиях и дружеских привязанностях он оставался верен себе. В Одессе он сначала поднялся в воздух на аэростате вместе с одним из первых российских покорителей неба, Сергеем Уточкиным (впечатления описаны в очерке «Над землей»), потом опускался на морское дно в снаряжении водолаза, наконец, совершил полет на аэроплане вместе с пилотом-спортсменом Иваном Заикиным. Последнее мероприятие кончилось аварией, и очерк «Мой полет» Куприн написал в значительной мере для того, чтобы защитить пилота от обвинений. Очерк заканчивался словами: «Что касается меня – я больше на аэроплане не полечу». Тем не менее Куприн полетел еще, и не раз – уже в Гатчине, где он прочно обосновался начиная с 1911 года.

**Гатчина. Война.**

Куприну шел уже пятый десяток лет, а постоянного пристанища он до сих пор так и не имел. Но желание иметь семейный очаг у него не пропадало никогда, поэтому, обретя, наконец, нематериальный дом – семью, в которой ему было хорошо, он задумался и о материальном. Денежные его дела стали постепенно поправляться: его слава была на пике, и для него стало возможно задуматься о приобретении недвижимости. Ему хотелось бы жить в Балаклаве. Но въезд в Балаклаву был для него по-прежнему закрыт после печальных севастопольских событий 1905 г. В остальном выбор решали, главным образом, деловые соображения: «С Петербургом отца связывало многое – объясняет этот выбор Ксения Куприна, – издательство, работа в газетах, друзья, но жить ему хотелось за городом. Он всегда мечтал о маленьком клочке земли, где он мог завести домашних животных, мог бы растить цветы и овощи. Некоторое время родители колебались между Гатчиной и Царским Селом» (*Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 48*) Затем остановились на Гатчине. Куприна привлекла живописность ландшафта и близость к природе. Уже в эмиграции, тоскуя о прошлом, он писал: «В первый раз мне тогда пришло в голову: почему это наш тихий исторический посад называется так непонятно, по-чухонски “Гатчина”. По-настоящему ему бы надо было называться посадом “Сирень”. Теперь, стоя на высокой вышке, я понял, что никогда еще и нигде, за все время моих блужданий по России, я не видал такого буйного, обильного, жадного, великолепного цветения сирени, как в Гатчине. В ней утопали все маленькие разноцветные деревянные дома и домишки. <...> Как радостно и странно было глядеть сверху на этот мощный волнистый сиреневый прибой, набегавший на городишко жеманно-лиловыми, красно-фиолетовыми волнами и белыми грядами, рассыпавшимися, как густое, белое овечье руно» («Шестое чувство»). Вскоре Куприны узнали, что продается небольшой домик на Елизаветинской улице. Ксения Куприна предполагает, что ее отца привлекло само название: Елизаветой звали его долгожданного доброго гения, вторую жену. Дом был куплен в кредит. Куприн обустроил его в своем вкусе.

Замечательное описание гатчинского пристанища писателя дает в своем стихотворении Саша Черный:

Из мглы всплывает ярко

Далекая весна:

Тишь гатчинского парка

И домик Куприна.

Пасхальная неделя

– Беспечных дней кольцо,

Зеленый пух апреля,

Скрипучее крыльцо...

Нас встретил дом уютом

Веселых голосов

И пушечным салютом
Двух сенбернарских псов.

Хозяин в тюбетейке,

Приземистый, как дуб,

Подводит нас к индейке,

Склонивши на бок чуб... <…>

На гиацинтах алых

Морозно-хрупкий мат.

В узорчатых бокалах

Оранжевый мускат.

Ковер узором блеклым

Покрыл бугром тахту,

В окне – прильни-ка к стеклам

Черемуха в цвету! <…> («А.И. Куприну»)

В эти годы постепенно меняется и мировоззрение Куприна. Былая революционность уходит, ему все ближе становится здоровый консерватизм «бытовой России». Образ этой России, намечавшийся и более ранних его произведениях, все ярче проступает в рассказах этой поры («Анафема», «Груня», «Святая ложь», «Храбрые беглецы», «Сашка и Яшка», «Гусеница», «Фиалки», «Царский писарь» и др.) Мировоззрение писателя может быть выражено словами героя его рассказа «Анафема (протодьякона Олимпия, отказавшегося возглашать анафему Льву Толстому – писателю, чьи произведения будили в нем добрые чувства): «Верую истинно, по символу веры, во Христа и в апостольскую Церковь. Но злобы не приемлю. “Все Бог сделал на радость человеку”» («Анафема»).

Перемена в мировоззрении Куприна особенно ясно видна на примере его отношения к начавшейся Первой мировой войне. Он, еще десять лет назад готовый «вызвать на поединок» царскую армию, теперь проникается патриотическими чувствами. Давно не пишущий никаких стихов, кроме шуточных, в январе 1915 года он пишет сонет «Рок», проникнутый самыми серьезными чувствами:

За днями дни… и каждый день все то же.

В грязи… в снегу… под ревом непогод.

Без сна… без смены вечно настороже

Забывший времени обычный счет…

Ложась под нож. На роковое ложе,

Бесстрашно смерть встречая в свой черед…

Великий подвиг совершает, Боже,

Смиренный Твой, незлобивый народ!

Без хитрости, корысти, самомненья,

О завтрашнем не помышляя дне,

Твои он исполняет повеленья,

Не ведая в губительном огне,

Что миру он несет освобожденье

И смерть войне.

В своем доме он с первых дней войны организовывает маленький госпиталь на десять коек, а вскоре сам по собственному желанию поступает на военную службу, обучает солдат, временно командует ротой. «”Его положительно… обожали солдаты за простое доверчивое к ним отношение, за внимание к личным особенностям каждого подчиненного, за исключительную отзывчивость и заботы, а также за живой и мягкий характер” – писал корреспондент «Русской иллюстрации» в 1915 г. (*Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 69*). Но служба его продолжалась недолго. Физически она была ему уже нелегка (возраст и невоздержанный образ жизни прежних лет давали о себе знать) через несколько месяцев Куприн заболел, попал в госпиталь, потом, выздоровев, некоторое время работал в Киеве в комитете Всероссийского земского союза – организации, помогавшей фронту. Но эта работа была не в его вкусе, там надо было заниматься бухгалтерской отчетностью, к которой у него не было ни малейшей склонности. Было у него желание поехать на фронт военным корреспондентом, но оно, можно сказать, не осуществилось (в этом качестве Куприн прослужил менее трех недель). На этом военная служба Куприна закончилась.

**Революция**

Февральскую революцию 1917 года Куприн воспринял с энтузиазмом. Сотрудничал в нескольких газетах, писал статьи, за кого-то хлопотал, кого-то защищал от опасностей реальных или мнимых: то цирковых зверей, которых плохо кормили, то интеллигенцию, на которую возводили несправедливые обвинения, то подростков-скаутов, на полном серьезе приговоренных к расстрелу за попытку подготовить диверсию. В политике он разбирался не слишком хорошо, и, конечно, не преследовал никаких определенных целей, действуя по велению сердца и ориентируясь на необходимости текущего момента. После октябрьской революции некоторое время пытался продолжать свою общественную деятельность, но быстро почувствовал, что страна движется совсем не в том направлении, в каком ожидал он.

В 1918 г. Куприн однажды попал на прием к Ленину. «В первый и, вероятно, последний раз за всю жизнь я пошел к человеку с единственной целью – поглядеть на него» – признавался он. Любопытство было оправданно: словесная «моментальная фотография», сделанная писателем, несомненно, представляет интерес не только для историка, но и для психолога. Читателю, привыкшему к советской «лениниане» в литературе и искусстве, конечно, непривычно описание внешности «вождя»: что-то «крабье» в его движениях, огненно рыжий цвет остатков волос и оранжевые, как ягоды шиповника, глаза. Куприн пишет этот портрет вроде бы «без гнева и пристрастия», но все вместе производит отталкивающее, пожалуй, даже демоническое впечатление. И писатель сам наводит на мысль, почему это впечатление создается: Ленин – человек, в котором не чувствуется ничего человеческого. «В сущности, – подумал я, – этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем душевном уродстве, были все-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот же – нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути. И при том – подумайте! – камень, в силу какого-то волшебства – *мыслящий*! <*Курсив автора – Т.А.*> Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая – уничтожаю. (*«Ленин. Моментальная фотография»*)

Уже в эмиграции Куприн не раз возвращался воспоминаниями к страшным послереволюционным годам. Из разрозненных мелочей, запечатленных в его очерках и рассказах об этом времени («Купол св. Исаакия Далматского», «Допрос», «Обыск», «Рассказ пегого человека» и др.), складывается образ эпохи. Какие-то новые, нечеловеческие черты начинают сквозить и в людях, в том «смиренном, незлобивом народе», который Куприн, казалось, так хорошо знал. Писатель, всегда легко сходившийся с простыми людьми, умевший говорить на их языке и не чувствовавший себя чужим им, открывает какую-то совершенно новую, ранее невиданную ненависть, направленную и против него самого. «Попили нашей кровушки. Будя», – шипит какая-то старуха, проходя мимо его забора и видя его за возделыванием огорода.

«Тогда все, кто могли, занимались огородным хозяйством, а те, кто не могли, воровали овощи у соседей». Сам Куприн, конечно, «мог» – более того, он любил это занятие. Даже постоянное недоедание, в результате которого люди, по его словам, перестали чувствовать вкус пищи, не мешало ему с восторгом любоваться плодами своего огородного творчества: «Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука. Красной толстой упругой грачевской моркови и крупного белого ребристого чеснока – этого верного противоцинготного средства. <…> Простите, что я так долго остановился на этом скучном предмете и отрываюсь от него с трудом. Мне совсем не жалко погибшей для меня безвозвратно в России собственности: дома, земли, обстановки, мебели, ковров, пианино, библиотеки, картин, уюта и прочих мелочей. Еще в ту пору я понял тщету и малое значение вещей сравнительно с великой ценностью простого ржаного хлеба. <…> Повторяю, мне не жаль собственности. Но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубничка Виктория и парниковые дыни-канталупы “Жени Линд” – вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь». («*Купол св. Исаакия Далматского*»)

Старуху, злорадно шипевшую про «выпитую кровушку», Куприн не винит, списывая ее слова на «новый лозунг революции». Те же «новые лозунги» наполняют «лютой злобой даже дела милосердия, заботы о людях. «Рядом с нами, еще в дореволюционное время, город построил хороший двухэтажный дом для призрения старух. Большевики, завладев властью, старушек выкинули в один счет на улицу, а дом напихали малолетними пролетарскими детьми». Видимо, это типичная для «смутных времен» ситуация: отношение к старикам как к «отработанному пару» и предпочтение им детей, за которыми, якобы, будущее. Но и «людям будущего» при новых «благодетелях», оставивших их на попечении какой-то ненавидящей весь свет девицы, живется не сладко.

Куприн вспоминает, как они пригрели одну из обитательниц этого нового приюта: жалкую «одичалую» девочку Зину, белым платочком и печальным выражением лица похожую на старушку. «Пришла она еще раз и еще, а потом даже привела с собою шершавого веснушчатого мальчугана, осиплого и дикого, как волчонок. Но однажды, едва она вошла в калитку, как за нею следом бешеной фурией ворвалась надзирательница. Ее страшные глаза “метали молнии”. Она схватила девочку-старушку за руку и поволокла ее с той деспотической неизбежностью, с какой злые дети таскают своих несчастных изуродованных кукол. И она при этом кричала на нас в таком яростном темпе, что мы не могли бы, если бы даже и хотели, вставить ни одного слова: “Буржуи! Кровопийцы! Сволочь! Заманивают малолетних детей с гнусными целями! Когда вас перестреляют, паршивых сукиных детей!” И все в том же мажорном тоне» *(«Купол св. Исаакия Далматского»*) Через некоторое время Куприн увидел, как та же надзирательница везет на тачке наскоро сколоченный детский гробик. Колесо тачки наскочило на камень, швы гробика разошлись и желтая мертвая ручка ребенка высунулась наружу. Куприн помог заколотить гроб. «Вбивая последний гвоздь, спросил:

– Это не Зина? Она ответила, точно злая сучка брехнула.

– Нет, другая стерва. Та давно подохла.

– А эту как звать?

– А черт ее знает?

<…> Я только подумал про себя:

– Упокой, Господи, душу неизвестного младенца, Имя его Ты сам знаешь» (*Там же*).

Подобного рода впечатлений было более чем достаточно. Впрочем, может быть, Куприну и хватило бы душевных сил без озлобления терпеть советский быт, но у него появились основания (сейчас трудно сказать, насколько реальные, но в контексте эпохи вполне вероятные) думать, что он внесен в расстрельный список. Во всяком случае, в большевистских застенках ему побывать случилось, и повторения он не хотел. Поэтому неудивительно, что, после взятия Гатчины Северо-Западной армией Юденича и последующего отступления этой армии под натиском красных, Куприн вместе с семьей предпочел уйти вместе с отступающими, оставив Россию на долгие годы, но не навсегда.

**Эмиграция.**

«Свобода! Какое чудесное и влекущее слово! Ходить, ездить, спать, жить, говорить, думать, молиться, работать – все это завтра можно будет делать без идиотского контроля, без выклянченного унижающего разрешения, без грубого вздорного запрета. И главное – неприкосновенность дома, жилья... Свобода!» *(Купол св. Исаакия Далматского»*) С таким настроением Куприн уезжал из большевистской России. Ему, как и многим уезжавшим, видимо, казалось, что перемещение в пространстве чудесным образом вернет прежнюю жизнь. Мысль о том, что *говорить* в будущем придется на чужом языке, *ходить* – по чужой территории, соблюдая чужие правила, что для того, чтобы *ездить* и даже по-человечески *спать* нужны будут средства, что *работы* никто не гарантирует, а от *неприкосновенности дома,* *жилья* не так уж много радости тем, у кого его нет.

В ноябре 1919 г. Куприн с семьей оказался в Ревеле, затем, получив финскую визу, перебрались в Гельсингфорс (Хельсинки). Финляндия, еще недавно бывшая русской, стала уже чужой страной, и разница между прошлым и настоящим была разительна. «В Хельсинки, как обычно, мы остановились в гостинице “Фения” – самой лучшей, – вспоминает Ксения Куприна, – и, только поднимаясь по ее мраморным лестницам, увидев лакеев и кокетливых, в накрахмаленных передниках горничных, мы поняли, насколько мы были оборваны и неприглядны. И вообще наши средства нам не позволяли уже жить в такой гостинице» (*Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 109)*. Это чувство русским беженцам приходилось испытывать на каждом шагу. Куприны снимали комнаты, сначала у частных лиц, потом в пансионате. «Теперь живу в Helsinki и так скучаю по России… что и сказать не умею. Хотел бы всем сердцем опять жить на своем огороде, есть картошку с подсолнечным маслом, а то и так, или капустную хряпу с солью, но без хлеба… Никогда еще, бывая подолгу за границей, я не чувствовал такого голода по родине. Каждый кусок финского smorgos’а становится у меня поперек горла, хотя на самих финнов жаловаться я не смею: ко мне они были предупредительны. Но я не отрываюсь мыслью о людях, находящихся там…» (Там же)

В Хельсинки они прожили около полугода. Куприн активно сотрудничал в эмигрантской прессе. Но в 1920 г. обстоятельства сложились так, что дальнейшее пребывание в Финляндии стало затруднительным. «Не моя воля, что сама судьба наполняет ветром паруса нашего корабля и гонит его в Европу. Газета скоро кончится. Финский паспорт у меня до 1 июня, а после этого срока будут позволять жить лишь гомеопатическими дозами. Есть три дороги: Берлин, Париж и Прага… Но я, русский малограмотный витязь, плохо разбираю, кручу головой и чешу в затылке», – писал он Репину (*Там же. С. 114*). Решающую роль в выборе сыграло письмо Бунина из Парижа, и в июле 1920 г. Куприн с семьей переехал в Париж.

Первые впечатления от Парижа тоже были далеко не самые радостные: в первом же ресторанчике, где Куприны решили поужинать, им, пытавшимся объясниться на подзабытом языке, пришлось услышать в свой адрес фразу: «Грязные иностранцы, убирайтесь к себе домой!»

Постепенно жизнь вошла в колею, но ностальгия не проходила, только «потеряла остроту и стала хронической, - как писал Куприн в очерке «Родина». «Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры… Но все точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру («Родина»).

Куприн пытался восстановить гатчинский быт. Жить в городе ему опять-таки не хотелось, но, когда семья сняла дачу, оказалось, что даже природа его не радует: «Чужая обстановка, чужая земля и чужие растения на ней стали вызывать у отца горькую тоску по далекой России. Ничто ему не было мило. Даже запахи земли и цветов. Он говорил, что сирень пахнет керосином. Очень скоро он перестал копаться на клумбах и грядках (*Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 133*) Когда стало ясно, что новой Гатчины не получится, Куприны вернулись в Париж и на десять лет обосновались на бульваре Монморанси, неподалеку от Булонского леса.

Эти места описаны в романе «Жанета – принцесса четырех улиц» (1932) - одном из немногочисленных произведений Куприна, посвященных жизни русской эмиграции. Герой повести, профессор Симонов – во многом сам Куприн. Тоска по родине и плохое знание языка отделяли его, как тюремные стены, от французской действительности и живого, нетерпеливого французского народа, не очень любившего иностранцев» (*Там же, С. 158*). Надо отметить, однако, что Куприн с уважением относился к французской культуре и французским традициям, и, мысленно сопоставляя их с русскими, не всегда отдавал предпочтение последним. «Мы, русские, в мятежной широте души своей, считали даже самую скромную запасливость за презренный порок. В начале нашего парижского сидения мы почти единодушно окрестили французов “сантимниками”, но разве – черт побери! – мы за семь лет не прозрели и не убедились, с поздним раскаянием, в том, что бесконечно счастливы те страны, где всеобщая строгая экономия вошла более чем в закон, в привычку. Наше глупое “денек, да мой” оказалось хвастливым, жалким и фальшивым выкриком перед французским разумным: “Для себя, для детей, для родины”. (*«Париж домашний»*)

Но, конечно, при всем уважении к французским обычаям, Куприн ощущал их чужими. Не имея возможности вернуться в Россию физически, он вновь и вновь возвращался в нее мыслью. Как и у многих его современников, оказавшихся в эмиграции: Бунина, Шмелева, Зайцева, – в его эмигрантском творчестве воскресает, с точностью до мельчайших подробностей, прежняя Россия, сквозь призму памяти выглядящая утраченным Эдемом. Он вспоминает и прежних знакомцев, полесских охотников («Ночь в лесу», «Вальдшнепы»), циркачей («Ольга Сур», «Блондель»), любителей скачек («Рыжие. Серые, гнедые, вороные»), воспоминает детство и юность, свое и своего поколения («Юнкера», «Розовая жемчужина», «У Троице-Сергия», «Пасхальные колокола»). Если не смотреть на годы написания этих произведений, можно подумать, что писатель рассказывает о времени, в котором живет, – с такой живостью предстают его мысленному взору картины прошлого.

Однако думать, что Куприн жил одними воспоминаниями, было бы неверно. Ксения Куприна в воспоминаниях пишет, что он не интересовался политикой и быстро отошел от эмигрантской прессы, но огромное количество написанных им публицистических статей свидетельствует об обратном. Очевидно, он еще пытался бороться с победившим большевизмом доступным ему средством – публицистикой. Да и малая востребованность художественной литературы не давала возможности сложить это оружие. Правда, сам писатель это занятие оценивал критически, и никогда даже не пытался собрать свои публицистические работы в одну книгу. Тем не менее, они представляют большой интерес.

«Перед нами публицистика Куприна, предсказавшая наступление и семидесятилетнее торжество коммунистического “земного рая” с его траурной символикой и культом мертвого тела в центре страны, – пишет современная исследовательница Куприна. О. Фигурнова. – Современники, близко знавшие писателя, отмечали в нем редкий дар бессознательного провидчества, ранее связывавшегося в русской литературе с именами Пушкина, Гоголя, Достоевского. “Оправившись от большевизма, выработав в крови стойкий иммунитет, Россия уже никогда не свернет больше на путь коммунистических утопий…” (“Ориентация”). Многие публицистические очерки Куприна, мыслимые им самим как “моментальная” фотография и менее всего ценимые в собственном творчестве, по мере удаления в прошлое, обрели ореол сбывшегося пророчества (“Ориентация”, “Их строительство”, “Пророчество первое”); и в сегодняшней политической разноголосице вполне серьезно звучат следующие фразы: “Нам чтобы долой всех коммунистов… но чтобы были советы и была республика. А над ней чтобы был царь, да такой, что как по столу кулаком треснет, то чтобы у всех в мире ноги затряслись” (“Разные взгляды”) (Фигурнова О. Четвертая жизнь Куприна – цит. по: htpp://kuprin de/figurnova.pdf). Стоит оговориться, что слова о «сбывшемся пророчестве» верны по отношению к Советскому Союзу, но едва ли можно считать оправданным и применимым к нынешний действительности радостный пафос слов об «иммунитете от большевизма». О том возрождении России, о котором мечтали Куприн, Шмелев, Ильин и другие писатели и философы русского зарубежья, и сейчас остается только мечтать.

В Париже Куприн подружился с К.Д. Бальмонтом. При всей разности их творческих миров, по-человечески в них было нечто общее: некая авантюрность характера, любовь к приключениям, «стихийность». В начале их сближения поэт посвятил Куприну два стихотворения, в которых зорко подметил некоторые характерные черты как купринского творчества, так и самого писателя:

Если зимний день тягучий

Заменила нам весна,

Прочитай на этот случай

Две страницы Куприна.

На одной найдешь ты зиму,

На другой войдешь в весну.

И «спасибо побратиму» –

Сердцем скажешь Куприну.

Здесь, в чужбинных днях, в Париже,

Затомлюсь, что я один, –

И Россию чуять ближе

Мне дает всегда Куприн…

…Так в России звук случайный,

Шелест травки, гул вершин —

Той же манят сердце тайной,

Что несет в себе Куприн.

Это – мудрость верной силы,

В самой буре – тишина.

Ты – родной и всем нам милый,

Все мы любим Куприна.

Пожалуй, особенно важна последняя строка второго стихотворения, в котором поэт рассуждает о том, кого и что он любит в этой жизни:

…Средь чувств люблю огонь любленья,

В году желанна мне весна,

Люблю средь вспышек – вдохновенье,

Средь чистых сердцем – Куприна. («Средь птиц мне кондор всех милее…»)

Действительно, и, может быть, парадоксально то, что писатель, проживший бурную и далеко не во всем праведную жизнь, сохранил детскую чистоту сердца – не случайно так много у него произведений, наиболее близких и понятных именно детскому возрасту.

**Возвращение**

Главу воспоминаний о последних эмигрантских годах своего отца Ксения Куприна озаглавила «Мрачные годы». Не случайно: с течением времени жизнь писателя за границей не стала лучше. «Последние годы Куприна на чужбине были выстужены болезнью, острой нуждой, отчаянием, – пишет О.Фигурнова. – Европейское культурное древо отторгло, как привитой к стволу дичок, язычески загадочную, хаотическую Русь Куприна. “Для французов мы – папуасская литература, курьез. Но курьез уже приелся…” Живя в Париже, писатель постепенно лишался всего жизненно необходимого: сюжетов, вдохновения, читателя и попросту сносных условий существования». (*Фигурнова О. Четвертая жизнь Куприна)*.

Чтобы хоть как-то поддержать существование, надо было напряженно работать, а здоровья, необходимого для напряженной работы, не прибывало. Куприн страдает нарушением мозгового кровообращения, у него слабеет зрение. «Куприн делается все равнодушнее к эмиграции и ее политике. Он совсем перестает сотрудничать в эмигрантских газетах. “Последние новости” он называет “Последними пакостями”. Когда к нему приходят какие-нибудь люди, разговор быстро начинает его раздражать, и он уходит и запирается в своем кабинете. Круг друзей и знакомых значительно сужается. Александр Иванович почти больше нигде не показывается. Письма его принимают сугубо бытовой характер» (*Куприна К.А. Куприн – мой отец*). Елизавета Морицовна старалась взять на себя часть забот по добыче денег, открывала то переплетную мастерскую, то библиотеку, то книжный магазинчик, но доход со всего этого «бизнеса» был самый скудный.

Грустное впечатление Куприн произвел и на Бунина: «…Всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: годы три тому назад <*Бунин пишет это в 1938 году – Т.А.*>, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки, - такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв. Точно их выводил ребенок… Все это было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне Бог – не в силах был видеть его в таком состоянии» (*Бунин. Собр. соч. Т. 9. С. 398*) Расхождение, на самом деле, началось еще раньше: с тех пор, когда оба писателя оказались включены в борьбу за Нобелевскую премию. Получив премию, Бунин пожертвовал часть ее собратьям-писателям, получил 5 тысяч франков и Куприн, но это не исправило кардинально его материального положения, а кроме того, получить «подачку» от ровесника и давнего друга, талант которого Куприн ценил, но не ставил выше своего, для него было психологически нелегко.

В 30-е гг. дочь Куприна, Ксения, работала манекенщицей, а потом стала сниматься в кино и приобрела некоторую популярность как актриса. Бунин, рассказывая о своих «нобелевских днях», вспоминает, что он как раз смотрел фильм с участием «хорошенькой Кисы Куприной», когда пришло известие о присуждении ему премии. «Постепенно мое имя как актрисы кино стало довольно известным. Отец всем рассказывал, как однажды шофер такси, услышав имя Куприна, спросил: “Вы не отец ли знаменитой Кисы Куприной?” Вернувшись домой, Александр Иванович возмущался: “До чего я дожил! Стал всего лишь отцом “знаменитой” дочери”...» (*Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 202)* Но успехи Ксении на этом поприще не могли обеспечить благосостояния ее семьи. Почти все заработанные ею деньги уходили на приобретение туалетов, без которых невозможно было удержаться в профессии, тогда еще малоприбыльной.

В 20-е гг. возвращение в СССР казалось Куприну немыслимым. Пример вернувшегося Алексея Толстого его вдохновлял меньше всего. «Уехать, как Толстой, чтобы получить крестишки иль местечки, – это позор, но если бы я знал, что умираю, непременно и скоро умру, то я бы уехал на родину, чтобы лежать в родной земле», – говорил он *(см.: Дружников Ю. Куприн в дегте и патоке. // Новое русское слово, Нью-Йорк, 24 февраля 1989; http://kuprin.de/rupdf/nauka/druzhnikov.pdf*) «Если бы в России меня оставили в покое, на какой угодно едальной категории, то я со своей стороны обещал бы не делать никакой политики и не “наводить мораль” (Гущик В.Е. Куприн уехал. // Поток Евразии. Кн. Первая. Таллин. 1938. С. 107). Из этих слов становится понятным то, чего никак не хотели понимать ни поднадзорные советские литературоведы (что неудивительно), ни «свободные» русские европейцы-эмигранты (что более удивительно): Куприн ясно различал понятие Родины и понятие режима. Возвращаться в Россию, чтобы, подобно Алексею Толстому, служить советскому режиму он не собирался; *так* он и не возвращался. Но понятно и то, что без единого компромисса возвращение эмигранта в сталинский СССР совершиться не могло.

Куприн, несомненно, чувствовал, что конец его близок, для этого не обязательны зафиксированные свидетельства очевидцев. Любопытный факт: в повести «Олеся» старуха, бабка героини, называет герою-повествователю рубежный год его жизни: шестьдесят семь лет. Именно в этом возрасте Куприн вернулся в Россию. Политику, и советскую и антисоветскую он воспринимал уже «издали», и дело здесь не в «старческом слабоумии», на которое усиленно упирали все, кому этот отъезд казался если не предательством, то недоразумением – а в том, что большой разницы между политиканством советским и политиканством эмигрантским он уже не видел, а по собственному состоянию сам уже не был способен ни к каким политическим играм. Конечно, всех сложностей советской жизни он просто не знал, издали советская действительность того времени казалась радужной и людям, которых никак не заподозрить в «старческом слабоумии» (например, Цветаевой), отчасти это было то же бегство из невыносимых условий в неведомое «там», в котором будет лучше, чем «здесь» только потому, что терпеть то, что «здесь», уже нет сил.

Вернувшись в Россию весной 1937 г., Куприн прожил чуть больше года. Внутренний мир его в эту пору оказался наглухо скрыт от посторонних глаз. Насколько он осознавал происходящее, был ли доволен или раскаивался, судить практически невозможно, потому что имеющиеся источники либо подвергнуты цензуре (воспоминания дочери с приведенными в них письмами Елизаветы Морицовны), либо тенденциозны с уклоном в другую сторону. Например, те факты, которые приводятся в доказательство полнейшей умственной деградации писателя (то, что, возвращаясь, он больше всего заботился о том, чтобы взять с собой любимую кошку Ю-ю, или то, что на приветствие встречавшего его на вокзале Фадеева он безучастно спросил: «А вы кто такой?») сами по себе ничего не говорят. Конечно, самым болезненным моментом было то, что дочь Ксения, заверявшая отца, что поедет следом за ними, осталась во Франции.

Конечно, служители советской идеологии попытались выжать из возвращения Куприна всю возможную выгоду для режима, но это, в сущности, была такая малость (не воспринимать же всерьез кем-то написанный и подписанный именем Куприна очерк «Москва родная», объемом в несколько страниц), что в конечном итоге в выигрыше явно оказался Куприн: он прожил остаток жизни в бытовых условиях, если не лучших, то, во всяком случае, не худших, чем те, в каких жил в эмиграции; он получил возможность вздохнуть воздухом родной земли, взглянуть на ее природу (а ему так хотелось именно этого); он умер и был погребен там, где хотел быть погребен, и, наконец, он обрел массового читателя в России, пока это была еще читающая страна. Явно в выигрыше оказался и мыслящий советский читатель, к которому законно вернулось, пусть и с цензурными купюрами, творчество замечательного писателя, что было очень ценно в годы «голода» по настоящей литературе.

Куприн вернулся, потому что верил в возрождение России, в некий «удивительный и непостижимый закон, по которому заживают самые глубокие раны, срастаются грубо разрубленные члены, проходят тяжкие инфекционные болезни, и, что еще поразительнее – сами организмы в течение многих лет вырабатывают средства и орудия для борьбы со злейшими своими врагами». *(Юнкера. Глава. VIII Торжество).*

В своей статье «Куприн в дегте и патоке» Ю. Дужников говорит, что перед смертью, в больнице, Куприн совершенно в трезвом уме попросил к себе священника, и что священник к нему пришел. В дневниках Елизаветы Морицовны записано иначе: «Перекрестился и говорит: “Прочитай мне «Отче наш» и «Богородицу», – помолился и всплакнул. – Чем же я болен? Что же случилось? Не оставляй меня”». (*см. О. Фигурнова. Четвертая жизнь Куприна*). Несомненно одно: умер он с молитвой, с сердцем, обращенным к Богу. А это многого стоит.